

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 29. “Погорельщина” и “Каин”

В окружающей Клюева жизни всё явственней виделся ему апокалипсис, о котором пели давным-давно староверы в духовных стихах (книга Т. С. Рождественского “Памятники старообрядческой поэзии”, изданные в 1909 году, была одной из его настольных книг):

*Идут лета всего света,
Приближается конец века;
Пришли времена лютыя,
Пришли года тяжкие:
Не стало веры истинныя,
Не стало стены каменныя,
Не стало столпов крепких,
Погибла вера христианская...*

“Конечно, идея патриотизма — идея насквозь лживая... Задача патриотизма заключалась в том, чтобы внушить крестьянскому парнишке или молодому рабочему любовь к “родине”, заставить его любить своих хищников...” Луначарский, произнося сие в 1925 году, не сделал никакого открытия — до него ещё в годы гражданской войны подобное отчеканивали и Бухарин, и Зиновьев... И всё же именно с середины 1920-х годов антипатриотические, антирусские инвективы достигли наивысшего градуса как в политических речах, так и в поэтических виршах.

*Время пришло стволам воронёным
Правду свою показать затонам,
Время настало в клыкастый камень
Грянуть свинцовыми кругляками...*

Это — Эдуард Багрицкий.
А это, конечно, Александр Безыменский:

*Расеюшка-Русь, повторяю я снова,
Чтоб слова такого не вымолвить век.*

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 за 2011 год, № 1 за 2012 год.

*Расеюшка-Русь, распроклятое слово
Трёхполья, болот и мертвеющих рек.*

“Пристрастие к русскому лицу, к русской речи, к русской природе... это иррациональное пристрастие, с которым, может быть, не надо бороться, если в нём нет ограниченности, но которое отнюдь не нужно *воспитывать*...” Это – снова Луначарский. Понятно, что там, где есть или видится ограниченность – там начинается борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть.

(Эти же мотивы снова обрели своё полнозвучие в конце 1980-х – начале 1990-х, с новым “революционным подъёмом”).

Для Клюева это время стало временем рождения новых песен – песен русского сопротивления.

*Кто за что, а я за двоеперстье,
За байку над липовой зыбкой...
Разгадано ль русское безвестье
Пушкинской золотой рыбкой?*

*Изловлены ль все павлины,
Фениксы, струфокамилы
В кедровых потёмках овина,
В цветике у маминой могилы?*

Апология русской тайны, русской сказки, не разгаданной до конца и отечественной классикой, воплощается в клюевских строках воедино с “иррациональным пристрастием” к русскому лицу и к русской природе – к тому, что вызывает зубовный скрежет новых идеологов “безнациональности”.

*Погляди на золотые сосны,
На холмы — праматерние груди!
Хорошо под говор сенокосный
Побродить по Припяти и Чуди,*

*Окунать усы в квасные жбаны
С голубой татарскою поливой,
Слушать ласточек и ранним-рано
Пересуды пчёл над старой сливой:*

*“Мол, кряжисты парни на Волыни,
Как берёзки девушки по Вятке...”
На певущем огненном павлине
К нам приедут сказки и загадки.*

Это стихотворение Клюев понёс в журнал “Звезда”, где ещё не до конца опомнились от разгрома напечатанной там же “Деревни”. Редакторы полагали, что поэт предоставит им что-нибудь в духе и стиле “Юности”, но прочтя стихи, тут же отказались от публикации.

А на столе у поэта лежало ещё одно, недописанное.

*Наша русская правда загибла,
Как Алёнушка в чарой сказке...
Забодало железное быдло
Коляду, душегрейку, салазки.*

*Уж не выйдет на перёные крыльца
В куньей шубоньке Мелентьевна Василиса,
Утопил лиходей-убийца
Сердце князево в чаре кумыса.*

Новое татарское иго. С которым, мнилось, навсегда покончено было, когда слагался гимн Ленину, когда мнилось, что “Чёрной Неволи басму попраля стопа Иоанна...” Здесь уже нет места вопросу: “Изловлены ль все павлины?..”

Изловлены. И времена татарского набега сменяются лихими временами никоианства и мученичества непокорных – и всё едино в окаянной современности.

*И боярыни Морозовой терем
В тощей пазухе греет вьюгу,
На иконе в борьбе со зверем
Стратилат оборвал подпрыгу.*

И не сыщешь более щемящей картинки гибели неистовой боярыни. Сразу вспоминаются последние минуты Феодосьи Прокопьевны в Боровской земляной тюрьме и её последние слова – к стрельцу, к охраннику: “Принеси мне хлебушка...” – “Боюсь, госпожа...” – “Ну, яблочка дай...” – “Не смею...” – “Ну, так последнюю просьбу исполни. Выстирай мою сорочку и положи меня подле сестры неразлучно”.

Хлебушка... Так и Клюев милостыню просил, которую однажды сам на-пророчил: “Я был когда-то поэтом. Подайте на хлеб, Христа ради...” Просил возле Сенного рынка, когда “Деревню” складывал. О чём и напишет через несколько лет в объяснении правлению Всероссийского Союза советских писателей: “...с опухшими ногами, буквально обливаясь слезами, я в день создания злополучной поэмы впервые в жизни вышел на улицу с протянутой рукой за милостыней. Стараясь не попадаться на глаза своим бесчисленным знакомым писателям, знаменитым артистам, художникам и учёным на задворках Ситного рынка, смягчая свою боль образами потерянного избяного рая, сложил я свою “Деревню”...”

Впервые является в его стихах образ Святого Георгия, побеждаемого змием. Он воплотится и далее – в “Погорельщине”. И – пророчество на будущее. Словно провидел 1940-е и 1990-е, когда писал о горестной судьбе двух великих православных народов:

*Так загибла русская доля —
Над речкою белые вербы.
Вновь меж трупов на Косовом поле
Узнают царя Лазаря сербы.*

И всё же, как и в “Деревне”, не даёт себе Клюев поддаться смертному греху – впасть в отчаяние. Да, “отлетела лебедь-Россия в безбольные тихие воды”, но в грядущем – “сквозь слёзы, звериные муки прозревают родину очи...”, где “исцеленный мир смугло-розов, на кувшинках гнёзда гагар...” Через кровь и муки – к новому миру, новой Руси, очищенной от скверны. Этим пафосом будут пропитаны строки его новых поэм.

Замысел “Погорельщины” возник в 1927 году, сразу после кампании против “Деревни”, а писалась поэма с весны по осень 1928 года сначала в Ленинграде, а затем – на Украине, в Полтаве и в селе Старые Санжары.

Когда Клюев рассказывал Виктору Мануйлову о том, как он путешествовал в глухие леса за Печорой, как по зарубкам на вековых стволах находил отдалённые северные скиты, где “живут праведные люди, по дониконовским старопечатным книгам правят службы и строят часовенки и пятистенные избы так же прочно и красиво, как пятьсот лет тому назад”, – иной слушатель мог бы и усомниться в услышанном, а в Клюеве “распознать” сказочника или фантазёра... Но вот что докладывал Наркомпросу РСФСР о своей поездке в Онежский край летом 1925 года композитор Борис Асафьев. До самых глухих мест, подобно Клеуеву, он, конечно, не добрался, но и того, что увидел и услышал – было предостаточно для чуткого уха и внимательного взгляда.

“...Удивляет и привлекает своей музыкальностью, былинной напевностью, мерностью и полнозвучием даже обыденная бытовая речь, не говоря уже о речи с оттенком поучения и повествования. Мне приходилось беседовать со стариками-раскольниками. Я поразился всё ещё крепкой, истово моральной и даже философской основе северного раскола и не почувствовал гнёта обряда. Книги ещё пишутся от руки. Пишутся и иконы по старинным лицевым подлинникам... Не так сложно услышать пение по крюкам и достать крюковые записи. Поскольку XVII век в русской музыке не так уж детально изучен, постольку северная певческая культура почти совсем не изучена... По небольшому числу услышанных мною напевов и виденных крюковых нот я счи-

таю дело записи, перевода и купли памятников певческого старообрядческого искусства — спешным, важным делом. Не менее важна запись причитания, воплей, плачей и т. д. Известная книга Барсова преступна в том отношении, что лишает всё записанное музыкальной ценности. Между тем, как мне приходилось наблюдать, — это ряд градаций: от говорка до напева, от речевой интонации до интонации песенной... Народное творчество на Севере большей частью не знает ценности только напева самого по себе. Важно слышать, как живёт этот напев в процессе интонирования, а этого никакой записью не уловишь... Ещё живы и старые песни. Хоровых мне слышать не приходилось, но одноголосные встречались часто: очень строгого рисунка... Материала достаточно, но добыть его нелегко: надо ходить, наблюдать, выжидать, искать случая и уметь войти в доверие. Особенно это важно в отношении раскольников. Один из них, старик, которому я почему-то полюбился, сказал мне: “Что же кому, ежели он не в смех возьмёт, можно и пение послушать, и службу познать, есть такие места”. Есть ещё старицы с белицами — что-то вроде скитов. В Поморском крае за Повенцом встречаются очень строгие начётчики и блюстители былых заветов. Думаю, что беспоповскую службу ещё возможно наблюдать в её нетронутом обличье, думаю, что ещё удастся набрести не на один след братьев Денисовых. Ходить по Северу неопасно — воров и злых людей нет. Вот только медведи. Их боязно...

Самый удобный в смысле “даваемости в руки” материал — это, конечно, архитектурный изобразительный. Я был поражён прежде всего красотой ансамблей, то есть спайки между фоном (природа: лес, холмы, поля, вода, острова, дальние линии берегов) и церквами, колокольнями, избами, часовнями, крестами и т. д... Чутьё северянина не обманывает его, когда он удачно расположенной деревней, домом, часовой, церковью, а иногда и просто крестом отмечает как бы центральную точку и побочные центры, вокруг которых смыкается или собирает себя многообразие природы... В пути я перевидал много разного люда (и бывших солдат, и бывших рабочих, и раскольников, и селькоров, и комсомольцев, и сельских священников, и учителей школы, и крестьян-ремесленников, и торговцев, и бойких старух-хозяек, и работниц и т. д.). За редким исключением у всех живёт здоровый художественный инстинкт и чуткое отношение /к/ красивому виду, красивому убору. Мастерство сохранилось главным образом в области архитектурной стройки и резьбы. “Сказ” живёт, по-видимому, севернее... Вообще посещение восточного берега озера Онеги обещает много заманчивого. Мне не удалось там побывать, потому что север Онеги и особенно западная озёрно-островная часть при внимательном обследовании и при вхождении вглубь отнимает много времени и энергии. Край здоровый, манящий при всей своей суровости. Надо его не только изучить в художественно-творческом прошлом, но и найти возможность удовлетворить художественные потребности настоящего и попытаться сдвинуть с мёртвой точки оцепеневшее и омертвевшее искусство...”

Всё духовное и материальное сокровище северных скитов воплотилось в тончайшей инструментовке “Погорельщины”, где память о древнем Выге, о выговской общине — поморском оплоте раскола — органически совместилась с памятью о разгромленных и пожжённых скитах Керженца. Герои “Погорельщины” — мужики-богомазы под руководством первого мастера — Павла — пишут образы красками, ни одна из которых не названа своим именем. Как некогда свершалось в поэзии Клюева “Рождество избы”, рождение избяного космоса под рукой Красного Древодела, так теперь свершается “Рождество Иконы”, оставляя при этом ощущение нерукотворности. Само явление иконы — “прилёт журавля”. И “доличное письмо”, обрамляющее “Видение Лица” — пишется не собственно кистью, а “смирному Павлу в персты и зрачки слетятся с павлинами радуг полки”, что выводят “голубых лебедей”... А далее —

*“Виденье Лица” богомазы берут
То с хвойных потёмок, где теплится трут,
То с глуби озёр, где ткачиха-луна
За кросом янтарным грустит у окна.
Егорию с селезня пишется конь,
Миколе — с крещатого клёна фелонь,
Успение — с пёрышек горлиц в дупле,*

*Когда молотба и покой на селе.
Распятие — с редьки — как гвозди креста,
Так редечный сок опалает уста.
Но краше и трепетней зографу зреть
На птичьих загонах гусиную сеть,
Лукавые мёрды и петли ремней
Для тысячи белых кувшинковых шей.
То Образ Суда, и метелица крыл —
Тень мира сего от сосцов до могил.
Студёная Кола, Поволжье и Дон
Тверды не железом, а воском икон.*

Сама природа помогает мастерам в их работе, отдавая свои лучшие краски образу, который перестаёт восприниматься как собственно искусство иконописца. Творение его рук вбирает в себя всё богатство и разнообразие мира внешнего, природного, зримого. “Соком земным” напоен образ Спаса и образ Богородицы в иконах дониконовского письма, отличавшихся прозрачностью света и строгой красочностью палитры... Во время своих скитаний по тайным тропам, ведшим в древние скиты, Клюев обретал всё новые и новые иконописные сокровища... В самые тяжёлые времена он не желал продавать хотя бы часть своей богатейшей коллекции, и только крайняя нужда могла заставить его расстаться с любимыми ценностями своего обихода.

“Извините за беспокойство, — писал Николай искусствоведу Э. Голлербаху, — но Вы в Камерной музыке говорили мне, что любите древние вещи. У меня есть кое-что весьма недорогое по цене и прекрасное по существу. Я крайне нуждаюсь и продаю свои заветные китежские вещи: книгу рукописную в две тысячи листов со множеством клейм и заставок изумительной тонкости — труд поморских древних писателей; книга глаголемая “Цветник”, рукописная, лета 1632-го с редкими переводами арабских и сирских сказаний в 750 листов, где каждая буква выведена от руки прекрасного и редкого мастера; ковёр персидский столетний, очень мелкого шитья, крашен растительной краской — 6-ть аршин на 4 ар/шина/; древние иконы 15-го, 16-го и 17-го веков дивной сохранности; медное литьё; убрus — шитый шелками, золотом и бурмитскими зёрнами — многолистный, редкий. Всё очень недорого и никогда своей цены не потеряет. И даже за большие деньги может быть приобретено только раз в жизни...”

С подобным письмом тогда же, в январе 1928-го, Клюев обратился к Алексею Чапыгину:

“Вещи музейные, в мирное время стоящие пять тысяч рублей (я предлагал их в музее Александра III, но там нет никаких ассигновок на какие-либо приобретения), для горницы в твоей избе на Моше более прекрасного и глубокого украшения не найти... Раз в жизни такая красота и редкость и встречается и даётся в руки. Мне обидно и горько пустить святое для меня на рынок. Быть может, ты сможешь дать мне за всё двести рублей — и я утешился бы сознанием, что мой Китеж в руках художника...”

В “Погорельщине” образы, писанные Чириным, Парамшиным, Андреем Рублёвым — оплот избяного космоса северной деревни Сиговый Лоб, которую грозит опустошить змей. Исчезновение с иконы образа Георгия Победоносца — предвестие неминуемой катастрофы. “На божнице змей да сине море...” Насельники Сиговца станут жертвами чудовища, волны поглотят последнее пристанище родного поэту древлеправославного мира, живущего по своим древним законам. Воды Светлояра поглотили древний Китеж, спасая его от нашествия татар. Сиговцу же — нет спасения.

И последняя молитва жителей этого сказочного мира — мольба о возвращении на икону Егория, обращённая к Святому Николе, к Богоматери-Приснодеве перед иконами великих русских мастеров, воплотивших лики Сладкого Лобзание, Споручницы Грешных и иных ликов Богородицы, — исполнена силы поистине трагической:

*Обрадованное Небо —
К Тебе озёра с потребой,
Сладкое Лобзание —
До Тебя их рыдание!*

*Неопалимая Купина —
В чём народная вина?
Утоли Моя Печали —
Стань берёзкой на протале!
Умягчение Злых Сердец —
Сядь за тёплый колобец!
Споручница Грешных —
Спаси от мук кромешных!*

.....
*По моленным нашим
Чири́н да Парамшин,
И персты Рублёва
Словно цвет вербовый!
По зелёным вёснам
Прилетает к соснам
На отцов могилы*

*Си́рин песнокрылый.
Он, что юный розан,
По Сиговцу прозван
Братцем виноградным,
В горестях усладным!*

А начинается поражение Великого Сига, где “отец “Ответов” Андрей Денисов и трость живая Иван Филиппов сузёмок пили, как пчёлы липы. Их чёрным мёдом пьяны доселе по холмогорским лугам свирели, по сизой Выге, по Енисею седые кедры их дымом веют...” (“чёрный мёд” отсылает к диалогу Платона “Ион”, где мёд собирается “слепыми лирниками” — поэтами, подобными Гомеру)... Начинаются потрясения со страшной песни Настеньки, Анастасии Романовны, которую слишком соблазнительно было соединить то с Настасьей — Воскресением из песнопений христов, то с якобы спасшейся младшей дочерью Николая II... Но свою Анастасию Клюев нервующейся нитью связывал с трагически гибнущей Настенькой — героиней П. Мельникова-Печерского, ибо под знаком его романов “В лесах” и “На горах” писались поэмы этого периода... Мы видели это в “Плаче о Сергее Есенине”. И в “Погорельщине” не менее явственны текстуальные совпадения.

“Лежит Настя не шелохнется; приустила резвы ноженки, притомились белы рученьки, сошёл белый свет с ясных очей. Лежит Настя, разметавшись на тесовой кроватушке, — скосила её болезнь трудная... Не дождёвая вода в мать сыру землю уходит, не белы-то снега от вешнего солнышка тают, не красное солнышко за облачком теряется — тает-потухает бездольная девица...”

Так у Мельникова-Печерского. Его Настенька жизнью заплатила за грех допущенный. А у клюевской Настеньки — грех того страшной.

*Не белы снега да сугробы
Замели пути до зазнобы,
Не проехать, не пройти по просёлку
Во Настасьину хрустальную светёлку!*

*Как у Настеньки женихов
Было сорок сороков,
У Романовны сарафанов —
Словно у моря туманов!..*

.....
*Уж как лебеди на Дунай-реке,
А свет-Настенька на белой доске,
Не оструганной, не отёсанной,
Наготу свою застит косами!*

Это — не “тесовая кроватушка” и не мирная кончина на ней. И “сорок сороков женихов” — не единственный суженый. Тут волей-неволей вспомнишь

(и без сомнения – Клюев помнил!) адские радения Пимена Карпова в начальных сценах романа “Пламень”. Неонилу, “сладкую, как яд”.

“...Увидев, как встрепенулась Неонила на кресте в диком выгибе, мужики, сбивая друг друга с ног, ярым кинулись на неё шквалом. Припали к розовым горячим её щекам, к алому вишнёвому рту, к глазам, мутно-синим, задёрнутым сумраком страсти. Лютее лютого был им поцелуй Неонилы – змеиный поцелуй ненависти... Неонила ли, весёлой яровухи-полонянки, не знать? Её ли ласк, любж и присух не помнить? Кто не припадал больно и страстно к знойной её ландышевой груди, к сладким вишнёвым устам?”

Весь грех Анастасии Клюев, в отличие от Карпова, оставляет за пределами поэмы – и лишь в песне Настеньки, перебившей только начатую песню, что завела зозуля, о “батыре-есауле” (тут же – отсыл к “сказочному богатырю”, которого так и не дождалась Настенька Мельникова-Печерского) – слышится щемящая нота позднего раскаяния.

*Ты, зозуля, не щеми печёнки
У гнусавой каторжной девчонки!
Я без чести, без креста, без мамы
В Звенигороде иль у Камы
Напилась с поганого копытца,
Мне во злат шатёр не воротиться!
Ни при батыре-есауле,
Ни по осени, ни в июле,
Ни на Мезени, ни в Коломне,
А и где с опитухи не помню,
Я звалась свет-Анастасией!..*

С этих “слов лихих” и начинаются все нестроения. Как сокровища собирают по камушку, как нотка к нотке обретает звучание симфония, как ниточка к ниточке ткётся полотно – так и человеческий микромир, община держится на каждом – блюдущим закон и нравственную чистоту. Змий бессилен перед крепостью духовной и душевной, но стоит впустить его в себя...

Резчику Олёхе слышится в песне Настеньки голос деревьев, жаждущих стать срубом или дровнями, кружевница Проня слышит голос кукушки, нагадывающей свадьбу, гончарник Силивёрст угадывает стон гончарного котла – всё вместе предвещает недоброе. И лишь иконописец Павел знает, что это – конец. Конец гармоничной жизни, конец родного, вспоившего и вскормившего мира.

*Чадца, теля не от нашей рыси,
Стала ялова праматерь на удои,
Завывают избы волчьим воем,
И с иконы ускакал Егорий —
На божнице змий да сине море!*

“Иконник Павел – насельник давний из Мстёр Великих, отец Дубравне...”
Словно улавливаешь не сразу, а всмотревшись в клюевский образ “иконника” – Сергея Клычкова, чья “Дубравна” ещё недавно была у всех на слуху. И к клычковскому “Чертухинскому балакирю” отсылает “медведь”, несущий в зубах книгу “Златые уста” – что сродни легендарной “Голубиной”, медведь, которого Клюеву, в отличие от Асафьева, не было “боязно”...

*Когда Олёха тесал долотцем
Сосцы у птицы, прошёл Сиговцем
Медведь матёрый, на шею гривна,
В зубах же книга, злата и дивна.
Заполовели у древа щёки,
И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резчик учуял: “Я — Алконост,
Из глаз гусиных напьюся слёз!”*

Вселенская, человеческая, Божеская и природная гармония царит в первой части поэмы, где “изба – криница без дна и выси – семью питает сосца-

ми рыси. Поёт ли бахарь, орда ли мчится, звериным пойлом полна криница. . .” И как страшно было услышать вещий голос Павла: “Чадца, теля, не от нашей рыси. . .”

“Русь” — царство греческое, откуда пришло на Русь христианство — по толкованию Апокалипсиса. . . И перед окончательным поглощением Сиговца змием — уходят святые и уходят в мир иной насельники дивного старого мира. Двуликий Сирина посреди снежного февраля поёт по-гречески молитву Иисусову — и умирает Павел. . . В мае месяце видятся Олёхе Зосима и Савватий, покидающие Соловки, — и Олёха уходит в мир иной. Проня зовёт с собой Алконост — птица печали, и Проня покидает землю. “Степенный свёкор с Силивёрстом”, поселившиеся в келье, получают весточку от Нила Столбенского, жившего за два века до основания Выга. . . Так смыкаются времена, так единая Святая Русь всех эпох, всех святых и героев уходит с этой земли. Два старца приготавливаются к смерти в огненной купели, собирая вокруг себя на прощание всю живую тварь. Как писал в “Истории Выговской пустыни” Иван Филиппов — “трость живая”, по слову Ключева, которого читал и перечитывал Николай, обливаясь слезами:

“Не к тому проповедашеся восточный закон благодатный, но западный ратный. Всюду бо мучительства меч обогранный кровию неповинною новых страсотерпцев видящися, всюду плач и вопль и стонание, вся темницы во градех и весях наполнишася христиан древняго держащихся благочестия. Везде чепи бряцаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты никонову учению служаху, везде бичи и жезлие в крови исповеднической повсядневно омочахуся. Проповедницы никоновых новин, яростию и гневом и мучительством вместо кроткого духа дыхаху: биением и ранами, а не благодатию Христову увещеваху, лукавством и коварством злымым, а не апостольским смирением к вере своей привождяху, и от такового насилья лютаго мучительства облияхуся все грады кровию. Утопаху в слезах села и веси, покрывахуся в плачи и в стонании пустыни и дебри. . . А елицы не могоша вышписанных мук терпети, мнози же и число превосходящии народи вооружающися верою собирахуся, кому где возможно бяше. При нашествии мучителей и от них сожигахуся, а овья от их наезду со оружием и пушками боющися из мучительства сами сожигахуся”.

То был подвиг духа несломленного, веры благодатной. Ныне же на месте бывшей некогда гармонии и красы — “в горенке по самогонке тальянка гиблая орёт” (и как тут не вспомнить есенинский “Сорокоуст”: “Не с того ли вплелась тужиль в переборы тальянки звонкой, и соломою пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой!”). . . А на месте Олёхи, Прони, Павла —

*Несло валежником от суши,
Глухою хмарой от болот,
Погоренкам и поалушам
Слонялся человекий сброд.
И на лугу перед моленной,
Сияя славою нетленной,
Икон горящая скирда...*

Тех, кто ушёл — не вернуть. И лишь “песнописец Николай” — последний из них — свидетельствует современникам “нерукотворную Россию”, Святую Русь, которая и ему открывается, лишь когда сердце песнопевца, покинув своё грудное обиталище, открывает медные врата. . . Видно, Николай знал, что и на нём грех велик. Принял лютых безбожников за восстановителей правой веры, шёл с ними бок о бок, песни им слагал от души — не из “страха иудейска”. . . И вот она — награда.

Картина пожирания Сиговца змием — сродни дореволюционному полотну Николая Рериха “Град обречённый”, где город окольцован гигантским змием — и нет в него ни входа, нет из него и выхода. Картины людоедства, взаимопожирания “человечьего сброда” (да ведь и дети там же были!) отнесены к 1919 году, что “горше каторжных вериг” — году клюевского евразийства и революционных гимнов.

Тонкая песенная инструментовка голосов Святой Руси, разнообразие ритмов начала поэмы сменяется кованым ямбом, когда вступают в своё право смертные голоса: в этом кованом ритме проходят перед нашими глазами сце-

ны смертей, самосожжения и людоедства... И к финалу поэмы – ритм снова меняется. Вступает мелодия старины – и начинается рассказ о “славном Индийском помории” – клюевской мечте, которое цветёт и хорошеет подобно Сиговцу в начале повествования. Но и Лидда, выстроенная сказочным князем Онорием, обречена – не устоять ей перед сарацинскими мечами.

Кручинилась Лидда, что краса её вся рукотворная, а цветов нет на её земле. И лишь после гибели на месте града стольного – “вырастали цветы белоснежные”. Ордой иссечен лик Одигитрии, но Богоматерь награждает землю, на которой стояла Лидда, вымоленными цветами.

Вспоминал, вспоминал Клюев в другой жизни виденную и слышанную оперу Н. М. Римского-Корсакова “Сказание о невидимом граде Китеже и де-ве Февронии”:

*А и будется небывалое:
Красотой всё изукрашится,
Словно райский крин процветёт Земля,
И распустятся крины райские...
...Время кончилось — вечный миг настал...*

Лидда – родина Георгия Победоносца, оставившего своё место на иконе в распадающемся Сиговце...

Поразительно и это прозрение Клюева. Двадцать лет спустя после создания “Погорельщины”, 11 июля 1948 года палестинская Лидда, город, где мирно уживались христиане и мусульмане, был расстрелян сионистскими боевиками под руководством Ицхака Рабина. Было убито 250 человек, остальные – изгнаны по дороге на Рамаллу. Завоеватели вывезли из города 1800 грузовиков награбленного добра на продажу...

* * *

Клюев хлопотал об издании “Погорельщины” на протяжении двух лет. Ни одна из попыток не кончилась, да и не могла, по сути, кончиться удачей. Кампания против “Деревни” и объявление Клюева “кулацким поэтом” даром не прошли: он был подвергнут самому настоящему литературному остракизму.

Поэт, чьи стихи входили в самые основные антологии и хрестоматии, включая хрестоматии для юношеского чтения на протяжении всех 1920-х годов – к 1929-му оказался выброшен из литературы. В периодике его стихи больше не появлялись – редакции категорически отказывались иметь с ним дело. В том же году прекратились и официальные публичные выступления – Николай больше ниоткуда не получал приглашений.

В 1928-м вышел в издательстве “Прибой” его последний прижизненный сборник стихов – “Изба и поле”, состоящий из трёх разделов (“Изба”, “Поле”, “Урожай”). Полторы тысячи строк из книги выбросила цензура, но даже того, что осталось – хватало для представления молодому поэтическому поколению уникального творческого мира. Книга открывалась “Рожеством из-бы”, а завершалась плачем 1-й мировой, который уже совсем по-иному звучал в 1928-м.

*Что ты, нивушка, чернёшенька,
Как в нужду кошель порожнёшенька,
Не взрастила ты ржи-гуменницы,
А спелегала— к солнцу выгнала
Неедняк-траву с горькой пестушкой?*

Преимущественно в книгу вошли стихи из “Сосен перезвона”, “Лесных былей” и “Мирских дум”. И лишь в последнем разделе Клюеву удалось сохранить несколько стихотворений послереволюционной поры, вошедшие некогда в “Львиный хлеб”.

А кампания против него всё нарастала, а смертоносная волна всё набирала силу.

“Что опасно?”. “За живых – против мёртвых”. “Кнутом направо”. “Деревенский отряд новобуржуазной литературы”. “Избяной обоз”. “Против пей-

занства”. “Вынужденные вопросы”. Статьи Лелевича, Авербаха, Замойского, Бескина сыпались на страницы журналов и газет, как из мешка бабы-Яги.

Дошло дело до того, что от своих старых друзей отрёкся в “Красной ниве” Пётр Орешин. Отрёкся в стихах. В небольшой поэме “Моя библиотека”.

Когда-то, мечущийся, пишущий без роздыху “революционные” поэмы (“плохие коммунистические стихи”, как охарактеризовал их Есенин), декларируя: “Будет врать о любви и о боге, и о многом, о многом другом. Не вернут нас ни кони, ни дроги в старорусский родительский дом”, – он, не могущий подавить в себе пронзительной лирической ноты, одновременно жаловался и тосковал – и создавал совершенно удивительные стихотворения, в каждой строчке которых слышались и радость, и отчаяние, и гнев, и удивление.

*Соломенная Русь, куда ты?
Какую песню затянуть?
Как журавли, курлычут хаты,
Поднявшись в неизвестный путь.*

.....

*И что ж? Крестом, как прежде было,
Никто себя не осенил.
Сама земля себя забыла
Под песню журавлиных крыл.*

*Ой, Русь соломенная, где ты?
Не видно старых наших сёл.
Не подивлюсь, коль дед столетний
Себя запишет в комсомол.*

Приблизительно в то же время Орешин обратился с гневной поэтической инвективой в адрес имажинистов (и Есенина вкуче), в котором была симптоматичная строфа: “Вам Клюев противен до боли, по мне – он превыше вас и песни его о русском поле запоются ещё не раз!” Не слишком лирично и слишком декларативно – но гнев при виде стаи литературных дикарей в цилиндрах превалировал над всем остальным... Пройдёт ещё несколько лет – и Орешин создаст лиричнейший цикл, посвящённый памяти Сергея Есенина, иные строфы которого и ныне вспоминаются, как образцы высокой поэзии.

*Жёлтый лист несут метели
Через перевал...
Не Серёжа ли с похмелья
Кудри растерял?
В поле холодно немножко,
Белый ветер лих.
Хорошо звенит гармошка
В пальцах ледяных.
Растрепать бы не пора ли
Нам земную сонь?
Три берёзки заплясали
Под его гармонь...*

Прогремят на всю страну бухаринские “Злые заметки”, и Орешин ответит на них стихами, исполненными недоумения и решительного несогласия с филиппиками партийного идеолога: “Не верно, сельские баяны, певцы крестьянской стороны, как будто родине багряной мы стали больше не нужны... Пускай кому-то не по нраву пришлись удары наших струн. Шумит же лес, поют же травы, гудит же ветер- рокотун...” А потом...

“Перестраивались” тогда многие. Башмаков не успев износить, жгли всё, чему поклонялись, поклонялись всему, что сжигали (это же мы наблюдали сами уже в наше время – и это “с нами войдёт в поговорку”, перефразируя па-

стернаковскую строчку 1925 года). Подобные “переодевания” были как бы в порядке вещей... Но “переодевание” Орешина было воистину скоропалательным.

Года не прошло со времени “есенинского цикла”, а уже складывались строки, подводящие черту под прежней любовью.

*На полке спит Сергей Есенин.
Четыре тома — тоже кладь.
Но мир ему в стране весенней,
Где хорошо ему лежать.*

.....
*Я ухожу, и не за славой,
Чем дорожил ты, что берёг...
Прости, родной, прости, кудрявый, —
Кричу тебе с других дорог.*

.....
*Что ж делать, ежели я вырос,
И брюки стали коротки,
И тесен в поле сельский клирос,
Твои снега и ящички?*

*Мы знали взлёт железной стаи,
Но не воспели, кинув грусть,
Как в поле, например, Чапаев
Распулемётил нашу Русь!*

Этого не перескажешь — это нужно приводить в максимально пространственных извлечениях. Что перед этим всевозможные безыменные, бескины и авербахи — которых изначально воротило от слова “Россия”, которые всегда лютой ненавистью ненавидели русскую деревню и русского мужика! Это даже не “эстет” Городецкий, поменявший уже в своей “гардеробной” массу “костюмов” и решивший, что сейчас лучше всего по плечу — кожаная куртка... Нет, здесь совершается нечто грандиозное — перестройка самого русского поэта, которого влечёт во “всемирность”!

Влечёт? Который — сам себя за волосы в неё тащит! Который — буквально заставляет себя отречься от своих друзей, готовясь к воспеванию “распулемёчиванья” Руси!

Кем был ещё недавно для Орешина Сергей Клычков?

*Чёрный волос — две покрывки,
Образом — сосна.
Бор шумит. Луна — коврижкой
А в бору — Дубна.*

.....
*Буйным городом изранен,
Синим лесом пьян,
Ты по паспорту — крестьянин,
А душой — цыган!*

Теперь же — картина совершенно иная.

*Ты жив ещё, здоров?.. Ну что же,
Давай простимся подбру,
Пришла пора, и ты, Серёжа,
Быть другом перестал Петру.*

.....
*Благодарю! Пора настала.
Разлука к горлу подошла.
За нашу дружбу мы немало
Понаписали барахла.*

.....

*Послушай шум огня лесного,
О том ли шепчет наша рожь?..
Недалеко уйдёшь с Лесковым,
Да и с Печерским не уйдёшь.*

*Но есть конец всему, не так ли?
Коварна жизнь, коварен свет.
Я ухожу из русской сакли,
Я больше не мужик-поэт!*

“Лесков с Печерским” уже не пример и не ориентир потому якобы, что “ведь были ж, были Уитмены, Верхарны и Эмиль Золя!” Да верил ли сам Орешин самому себе? Вопрос не зряшный – больно уж поверхностно это “отречение”, слишком уж не выбираются слова, неуклюжи самооправдания, а “страх иудейский” ощутим за каждой строкой! Совершенно Орешин теряет себя, когда набредает в своём “книжном шкапу” на подаренные томики Клюева:

*А это кто, почти безбровый,
Почти беззубый, как бабай?
Ахти, два тома Песнослава,
Смиренный Клюев Николай.*

.....
*Сочувствую, кто об эпоху
В беспутьи голову расшиб.
Кто старостью и нудным вздохом
Сочится, как в носу полип.*

Это – чуть ли не калька со стихотворения неугомонного Безыменского, который годом ранее в “Красной газете” прямо отправлял Клюева в белую эмиграцию:

*Скорей разбей свои скрижали
И потуши лампадный лик,
О, ты, — олонецкий рижанин
И мялюковский рюсс-мужик!*

Но, похоже, разлад внутренний настолько вышиб Орешина из колеи, что даже Безыменский в своём клеветническом опусе кажется более грамотным и складным. . .

В конце декабря 1928 года Клюев пишет Сергею Клычкову. Делится новостями, благодарит за помощь – и жалуется, мечтает, недоумевает. . .

“Кланяюсь тебе низко и благодарю крепко за твою любовь ко мне и тёплую заботу! Чем только я заслужил всё это пред тобою. Поздравляю тебя с наступающим праздником Рождества Христова и Новым Годом! Желаю тебе груды лунного золота – из какого создан Чертухинский Балакирь. И жемчугов-хризопрасов народных.

Я живу по-старому, то есть в бедности и одиночестве. Зима эта очень тяжёлая – нет самого необходимого; что можно было продать – продано, и если я сообразно твоего письма заслуживаю персональную пенсию, то возьми на себя труд и милосердие собрать подписи писателей и учёных в Москве, а на подписном листе выработай соответствующий заголовок. . . У меня написано за это время четыре поэмы. Но навряд ли их можно издать, хотя бы и в “Круге”.

Если бы можно было переиздать Львиный Хлеб – книга эта на три четверти не вышла из типографии, и в продаже её – по крайней мере, в Питере – нигде нет. Книгу эту можно было бы и дополнить. Если собрать мои поэмы: Четвёртый Рим, Мать Суббота, Деревня, Заозерье, Плач о Сергее Есенине и большую поэму “Погорельщина”, то тоже бы получилась хорошая книжка. Но, повторяю, навряд ли это возможно.

Что за выступление Орешина? И что ему надо от нас – его подлинных братьев?..”

Вот так – называет себя и Клычкова “подлинными братьями” Орешина, и его, стало быть, считает “подлинным братом” – и словно невдомёк ему, как

эти “братья” предавать могут, хотя жизнь уже всему, чему могла, казалось бы, научила.

Тоскующий, изнемогающий от одиночества, он зовёт Клычкова к себе в гости, в Ленинград, и сообщает ему, что келью держит в чистоте и опрятности, что ни он к писателям не ходит, ни они к нему... “Приходит только узбек-юноша, споёт песню про бедного верблюда, поплачет о своей Персии верблюжьими слезами. Я часто плачу... Ты знаешь – о чём. Ах, если бы мне дали ежемесячное вспомоществование! Ведь во всех школах и вузах учатся по моим стихам. Много моих песен переложено на музыку, существуют переводы и на европейские языки...”

Ведь так оно всё и было. В то время, когда не прекращался огонь по Ключеву из всех журнальных и газетных орудий, школьники и студенты изучали его поэзию по “непрочищенным” хрестоматиям и антологиям. А что касается переводов – то к тому времени его стихи уже были известны и в Европе, и в Азии, и в Америке, переведённые на английский, немецкий, итальянский, французский, японский, чешский и латышский языки. Чапыгин в одном из писем к Горькому, сообщая, в частности, о том, как извёлся непечатаемый и нищий Ключев, упоминал также о человеке, который осуществлял переводы Ключева на немецкий.

А что касается музыки... “...Недавно в Питере в бывшей Императорской Капелле шла моя поэма Песнь Солнценосца – очень красивый был вечер. Хор двести человек, оркестр – струнный, человек сто... Но мне не причиталось ни копейки. Расходы капеллы далеко превысили доходы. Одних нот нужно было переписать рукой до тысячи листов. Музыка подлинно русского человека Андрея Пашенко...” Премьера героической поэмы “Песнь Солнценосца” для хора, соло и оркестра состоялась в Ленинграде 18 ноября 1928 года – и это было первое и единственное музыкальное исполнение ключевской поэмы. На экземпляре концертной программы Николай начертал своей рукой: “Музыка Пашенко на мою песню очень мне понравилась – она, как ветер в деревьях, так необходима для моих стихов. Прекрасны и свежительно поцелуи ветра с деревьями. Н. Ключев”.

... Он не уставал пробовать в печать “Погорельщину” – все попытки были безрезультатны. Он раз за разом устраивал публичные чтения поэмы – здесь была двоякая цель: ознакомить поэму с как можно большим количеством слушателей – *избранных* слушателей, и заработать хоть что-нибудь на жизнь.

Слушания были платными. Публично это не объявлялось, но каждый из приходивших на чтения знал: поэт нищенствует и плата необходима. Деньги собирал заранее назначенный человек и потом в укромном уголке вручал “гонорар” Ключеву. А тот мог лишь вспомнить стародавние времена – когда был гостем литературных салонов, где подобное было в порядке вещей, но где смотрели на него преимущественно как на экзотическое существо. Теперь же – его созерцали и слушали, как представителя **последней Руси**.

Я могу лишь представить себе подобную картину, основываясь на личном опыте. В начале 1980-х годов примерно так же устраивались домашние концерты гениального русского певца Николая Тюриня. Доступ на большую сцену ему был закрыт, а на телевидение он пробился лишь однажды – благодаря усилиям, которые предпринял его неистовый поклонник – Вадим Валерианович Кожин... Собирались избранные поклонники тюринского певческого дара, после двухчасового концерта разливали скромный чай и раздавали домашнее угощение, а перед выступлением тихо проходил обязательный сбор денег.

... Ключев читал “Погорельщину” во многих домах. В Доме писателя, в Доме деревенского театра, на званых вечерах в квартирах людей, жаждущих послушать великое поэтическое произведение... В Доме писателей его выступление предвещал молодой и самоуверенный критик Ефим Добин.

– Настоящий поэт лишь тот, кто умеет воспеть, как строится блюминг и добывается нефть. Все остальные – несозвучны эпохе. Сейчас перед вами один такой “чужак” выступит. Это, товарищи, поэт Николай Ключев. Творческий труп! Стихи его – устаревшая рухлядь. Я уверен, что вы встретите его пролетарским равнодушием.

О дальнейшем вспоминал через много лет Вячеслав Завалишин:

“Слушатели с любопытством ожидали, когда появится поэт, которого им предлагали “почтить” пролетарским равнодушием. Наконец показался мужи-

чок с зоркими, с хитринкой глазами. Он был в длинной, украшенной узорами рубаше, сшитой из яркого шёлка и доходившей ему до колен. Так обычно одеваются гусляры, выступающие в ресторанах, где бывают знатные иностранцы, — чтобы поразить посетителей экзотикой “кондовой” Руси.

Николай Клюев начал читать свою поэму... Все сразу поняли, что так может читать только настоящий крестьянин и настоящий народный поэт. Клюев держал в напряжении весь зрительный зал. Нам казалось, что мы чудом перенеслись в сказочный, легендарный край, имя которому — Русь. Клюев умел захватывающе читать стихи. Он, пожалуй, даже не читал, а распевал их, как это делают сказители былин. Выступление поэта имело исключительный успех, буквально ошеломивший мелкотравчатых урбанистов, выпустивших его...”

“Читал предельно просто, — вспоминала Валентина Дынник, — но все были словно заколдованы. Я считаю, что совершенно свободна от всяческих суеверий, но на этот раз во мне возникло ощущение, что передо мною настоящий колдун... Колдовство исходило от самого облика поэта, от его простого, казалось бы, чтения. Повевало чем-то от “Хозяйки” Достоевского”.

“...Клюев читал до второго часа замечательную “Погорельщину” и читал мастерски. Очень хорошо”, — записывал в дневнике Михаил Кузмин.

А в Москве слушателями “Погорельщины” кроме Сергея Клычкова и Петра Орешина (пришёл — и слушал безотрывно!) были и Александр Воронский, и Иван Катаев, и все критики и прозаики “Перевала”, и Михаил Нестеров, и о. Павел Флоренский.

Иванов-Разумник, пришедший в дикий восторг от поэмы, отправил переписанные отрывки из неё Андрею Белому — и получил от того следующее послание:

“Дорогой друг, ещё не ответил Вам ничего на Вашу любезность: спасибо за отрывки из Клюева; вероятно, “Погорельщина” вещь замечательная; читал отрывки, от некоторых приходил в раж восторга; такие строки, как “Цветик мой дитячий” и “Может, им под тыном и пахнёт жасмином от Саронских гор”, напишет только очень большой поэт; вообще он махнул в силе: сильнее Есенина! Поэт, сочетавший народную старину с утончениями версификационной/технической XX века, — не может быть небольшим; стихи технически — изумительны, зрительно — прекрасны; морально — “гадостны”; красота имажинации при уродстве инспирации... Изумительные по образам, содержанию, ритму и технике стихотворения, “Виноградье моё со калиною” воняет морально: от этих досок неотёсанных, на которых “нагота прикрыта косами”, идёт путь неприемлемого, больного, извращённого эротизма; и если я услышал в “Антропософском/Обществе/в 22/м/году запах смеси “парфюмерии с трупом” и чуть ли не упал в обморок от него, то от стихотворений/Клюева, прекрасных имажинативно и крупных художественно, разит смесью “трупа с цветущим жасмином”; я не падаю в обморок, потому что соблюдаю пафос дистанции между собой и миром поэзии Клюева...”

Невыразимо чуждо мне в этих стихах не то, что они о “гниловатом”, а то, что поэт тончайше подсаковывает им показываемое; в этом смысле и склоненья “сосцов” (!) “Иродиады” (!). Клюев не верит ни в то, что Иродиада — Иродиада, в правду “песни”, долженствующей склонить “сосцы” (непреречно “сосцы”!), ни в “Спаса рублёвских писем”, которому “молился Онисим”. “Спаса писем” — “Онисим” — рифма-то одна чего стоит! Фу — мерзость!

Так Спаса не исповедуют!

...Гюисмансу много лет назад было простительно “гутировать” святости; но и он трепетал! А этот — не трепещет; и чего доброго, ради изыска, пойдёт в кафе-кабаре прочесть строчку: “Граждане Херувимы, прикажете авто!”

Наденет поддёвочку, да и споёт под мандолину своё прекрасное “кисло-квасие”, проглотив предварительно не один “ананас” от культуры, кишасшей червями. И оттого: “двуногие пальто”, презируемые Клюевым, мне ближе: где им до эдакого изыска; у “двуногих пальто” нет и представления о том, что возможны такие кошунства: “Мы на четвереньках, нам мычать да тренькать в мутное окно”, — участь клюевской линии; её дальнейший этап — “четвереньки”: Навуходоносорова участь!

А поэзия его изумительна; только подальше от неё; и говоря “по-мужички, по-дурачки”, я скорей с Маяковским; люблю его отмеренною, простой любовью: “от сих до сих пор”...”

Прочтя это письмо Андрея Белого, без труда угадаешь — какие, в частности, отрывки “Погорельщины” послал ему Иванов-Разумник. Послал с определённым расчётом.

После гибели Сиговца “сосновые херувимы” слетаются на стогны современного Ленинграда, города, которому по старинному пророчеству — Санкт-Петербургу тогда — пусто быти... Слетаются в жилище Иродиады — старшей дочери Ирода-царя, что потребовала главу Иоанна Крестителя, — дабы умиловить её своей песней, умолить принять принесённые дары...

*Для неё мы в кошеле рысьем
Мирской гостинец несём:
Спаса рублёвских писем, —
Ему молился Онисим
Сорок лет в затворе лесном!*

Андрей Белый, которого передёрнуло от этих строк, не знал и знать не мог — что раскрывает здесь Клюев: тайное тайных, вынесенное им из давнего общения с “христами”. Они ведь поклонялись иконам, соединяя в своём воображении лики святых с образами собственных “святых”. Икона Иоанна Предтечи с крыльями за спиной соединялась в их восприятии с образом почитаемого ими “христа” Онисима... Так в “Погорельщине” соединилось всё самое одухотворённое, что воспринял поэт на своих русских путях: языческую радость воссоединения с миром природным, староверческие заветы, “духовные полёты” сектантства...

Нежному гласу херувимов отвечает грубая советская улица, которую готов был предпочесть Белый:

*Выла улица каменным воем,
Глотая двуногие пальто.
“Оставьте нас, пожалста, в покое!..”
“Такого треста здесь не знает никто...”
“Граждане херувимы,— прикажете авто?”*

Это утрированное воспроизведение “диалога” Клюева с новыми редакторами газет и журналов. Но это — лишь поверхностный слой. А на глубине — кардинальный разрыв в языке, в понятийных категориях между поэтом и теми, кто взял на себя роль арбитров идейной и художественной шкалы ценностей. Между ещё живой Старой Русью — и новым временем, беспощадным к старине, безжалостным к традиционным ценностям, ещё не ведающим, что предстоит к ним вернуться.

Иванов-Разумник знал, что делал, когда посылал Белому, некогда триумфально величавшему Клюева, именно этот отрывок “Погорельщины”. Он не единожды уже высказывал своему старому литературному другу недовольство его “перестройкой”, как написал Разумник в своих позднейших воспоминаниях: “Давняя дружба соединяла нас, но за последнее время стали омрачать её непримиримые политические разногласия; не то, чтобы чёрная кошка пробежала между нами, но чёрный котёнок не один раз уже пробовал просунуться — с тех пор, как... Андрей Белый сделал попытку провозгласить “осанну” строительству новой жизни, умалчивая о методах её...” Послание одного бывшего “скифа” другому должно было символизировать “литературный документ сопротивления” третьего, а ответ второго “скифа” (перестраивавшегося гораздо более тонко, чем тот же Пётр Орешин) — говорил о неприятии именно идейного содержания присланного, хотя неприятие это всеми возможными средствами маскировалось под неприятие эстетическое. И Белый, и Разумник поняли друг друга прекрасно, но ни один из них не понял в целом (а скорее, и не захотел понять) одно из гениальнейших творений русской и мировой поэзии.

Исключительно как “документ сопротивления” расценивали “Погорельщину” и в ленинградских кружках молодёжи, хорошо знакомой Иванову-Разумнику, где частыми гостями были старые социалисты-революционеры. Когда руки ГПУ дошли до этих кружков, то на допросах стали выясняться весьма интересные подробности.

“Кружок принимает, и в этом сказалось влияние Иванова-Разумника — определённое эсеровское направление, это сказалось и на характере литера-

турных читок, которые принимают народнический характер. На собрании кружка, происходившем на квартире В. А. Гаммер, был приглашен кулацкий поэт Клюев, который прочитал свою контрреволюционную поэму “Погорельщина”, увлекшую слушателей. На одно из собраний по специальной договоренности должен был приехать Иванов-Разумник для чтения одной из своих эсеровских статей, но в день приезда предупредил по телефону, что приехать не может, так как опасается это делать в связи с происходящими арестами...

Для эсеровских настроений кружка характерен факт распространения в 1932 году среди его членов размноженных мною на машинке экземпляров нелегальной поэмы Клюева, оплакивающей уходящую кулацкую Русь. Поэма получила известность, для совместных чтков её собирались группами, в частности, совместно читали её, восторженно комментируя, Громов, Куклин, Бианки и Павлович. Поэму привёз от Клюева из Москвы Павлович. Поэма цитировалась и заучивалась членами кружка и распространялась дальше. На отпечатку этой поэмы, на бумагу и пр. мною были собраны от членов кружка необходимые средства. Максимов мне заявил, что, распространяя и размножая эту поэму, я делаю “истинно культурное дело” (из показаний библиотекаря Е. Н. Дубова по “делу” “Идейно-организационного центра народничества”).

Но думается, что наблюдение за Клюевым и первые документы его так называемого “агентурного дела” (которое, безусловно, существует, но к которому нет доступа) начали складываться до привоза поэмы из Москвы, — тогда, когда первые экземпляры “Погорельщины” стали ходить по рукам. Поэма с самого начала стала восприниматься как оружие, направленное против становящегося строя.

А к этому времени у Клюева сложилась ещё одна поэма, содержание которой в этом отношении было, выражаясь современным жаргоном, “круче”, чем содержание “Погорельщины”.

Поэма, название которой Клюев подбирал долго и мучительно. Сначала она называлась “Каин”. Потом имя первоубийцы сменилось местоимением “Я”. — так Клюев отождествил себя с проклятым сыном Адама. И, наконец, остановился всё же на “Каине”.

Горечь и боль за уничтоженную родину смешивается здесь с пронзительной нотой самобичевания. Вкусившие отраву политической демагогии простые люди так же наравне с идеологами разрушения принимали участие в истерических сборищах, называемых “митингами”, так же с упоением отрекались от старого мира, разрушая свои же духовные святыни. Да и сам поэт, быстро, по счастью, опомнившийся, послужил своим пером этой адской революционной вакханалии.

Вспомним, ещё раз, однако...

*Ура, Осанна — два ветра-брата
В плащах багряных трубят, поют...
Завод железный, степная хата
Из ураганов знамена ткнут.*

*Убийца красный — святей потира,
Убить — воскреснуть, и пасть — ожить...
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.*

“Пулемет... Окончание — мед. Видно, сладостен он для охочих — Пробуровать свинцом народ — Непомерные, звездные очи...” Эти строки, которые сейчас поистине страшно читать, тогда сменялись другими, в которых восторг от происходящего смешивался с душераздирающим ощущением духовной катастрофы: “Кривохарканьем Бог заболел, — оттого и Россия пурпурна...” Негодую и язвя, восторгаясь и иронизируя с горькой усмешкой, Клюев временами доходил до откровенного кощунства, своим примером как бы подтверждая мысль одного из героев Достоевского: “Широк русский человек. Я бы его сузил...”

Осознав со временем, к чему эта широта привела Россию, Клюев в 1929 году пишет поэму покаяния. Братоубийцу Святополка в народе называли окаянным — “окаинившимся”. Раскаяние — освобождение из-под власти Каина. Клюев понимал, что ему самому это покаяние за содеянное с Россией нужнее,

чем кому бы то ни было. Сотни стихотворцев талантливых и бездарных были в этом отношении безнадежны. Охмелев от крови бессудных расправ, они продолжали петь в том же духе, независимо от того, что одни герои их виршей, вставшие к стенке, сменялись другими, ещё не вставшими.

*Задонск — Богоневесты роза,
Саров с Дивеева канвой.
Где лик России — львы и козы
Расшиты ангельской рукой —
Все перегой, жилище сора.
Братоубийце не нужны
Горящий плат и слёз озёра
Неопалимой купины!*

*Узнай меня, ткач дум и слова,
Я — враг креста, он язва нам,
Взалкавшим скипетра срамного
Державным тартара сынам!*

В этих словах Каина слышны то громогласные, то приглушённые речи миллионов наших соотечественников — от современников поэта с их проклятиями “опиуму для народа” и “лапотной Расеюшке” до нынешних одурманенных остолопов, ещё совсем недавно радостно вопивших о “конце империи”.

Уже в “Погорельщине” отчетливо выявилась у Клюева музыкальная нота пушкинского “золотого века”. Эта нота ещё отчетливей звучит в “Каине”, в самой поэтической материи произведения. В то же время прямые отсылки поэта к Пушкину и Лермонтову создают потрясающий душу контраст — словно бесследно исчез чистый горный Кастальский источник, и страждущий путник оказался перед зловонной лужей.

*Ах, Зимний сад — приют Эроту,
Куда в разгар любви и сил
Забить мирскую позолоту
И злоязычную заботу
Великий Пушкин заходил.
Зачем врага и коммуниста
Ты манишь дымкой серебристой,
Загадкой грота и скамьёй
С разбитой урной над водой.*

Прекрасное манит всякую нечисть. Вторжение в обитель грез и муз нового хозяина жизни “с товарищем наганом” на боку (слишком явственна отсылка к Маяковскому с “товарищем маузером”) заканчивается печально. Сад наполняется гнусавым хором варваров, оргия которых заканчивается полным разгромом и кровопролитием, ибо ни одно поругание святыни не проходит задаром. “Отыскали тебя в гроте на последнем повороте. Френч разодран, грудь в крови от невинной, знать, любви!”

В записных книжках Клюева 30-х годов встречаются пространные выписки из “Преступления и наказания”, в частности, “Сон Раскольникова” и его исповедь перед Сонечкой. Видно, мысль о покаянии настолько сильно овладела душой поэта, что он до конца жизни пронёс её в себе, что, естественно, отразилось и на круге его чтения.

Как во многих вещах у Клюева, в “Каине” явлен сплав мистического и реального, образы дьявольщины и образ чистой и непорочной Великой России перемежаются жуткими реалиями современности. “Все чаще говорят газеты: самоубийцы тот да эти...” Набор хулиганских реплик (этот же приём использован в “Погорельщине”) сменяется лермонтовской классической нотой: “Не прячется в саду малиновая слива, не снится пир в родимой стороне...” Вся же поэма целиком воспринимается в ключе сновидения, в котором перемежаются картины прошлого, настоящего и будущего. Отдельные строфы напрямую воспроизводят сны, которые записывал со слов Клюева Н. И. Архипов.

“Будто где-то я в чужом месте и нету мне пути обратно. Псиный воздух и бурая грязь под ногами, а по эту сторону и по другую лавчонки просекой вы-

тянулись, и торгуют в этих ларьках люди с собачьими глазами... Стали попадаться ларьки с мясом. На прилавках колбаса из человеческих кишок, а на крючьях по стенам руки, ноги и туловища человеческие. Торгуют в этих рядах человечиною. Мне же один путь вдоль рядов, по бурой грязи, в песьем воздухе...»

Через семь лет это сновидение воплотилось в 3-й части поэмы, в которой отчетливо явлено предчувствие будущей гибельной ссылки в Колпашево. «Мне снилось: заброшен я в чумазый гиблый городишко, где кособокие домишки гноились, сплетни затая...» И здесь же вопреки угрожающему монологу Каина в начале поэмы, в воображении Клюева встает вечная Россия, которая подобно Китеж-граду становится незримой в лихие годы, но объявится снова человеческому взору, когда чаша Божьего гнева переполнится.

Чёрная свинцовая туча накрывает Россию, кажется, ни единый проблеск света не разорвёт её, голос Каина, «верховного мастера и супруга», явившегося к поэту «в завечеревший понеделник» (и здесь в памяти Клюева, без сомнения, всплыла поэма А. Ганина «Сарай»), пронзает насквозь каждой нотой, словно вбивает несчастного всё глубже и глубже в землю.

*«Да, я! Приход мой неслучаен
В страну октябрьской мглы и вьюг.
Но, чтоб испытать последних Таин,
Мой вождевленный смертный друг,
Вот камень от запястья З/мия/
Тебе дарован за труды.
Сестра дракона — И/ндустрия/
Грозит кимвалами беды.
/.../ поклонится /Россия/
Рогам полуночной звезды...»*

И на совершенно иной ноте пишется финал — где на наших глазах свершается «Руси крещение второе», неизбежно грядущее во её спасение. Древнее язычество не уничтожается огнём и мечом, не покорствуется поневоле, но с радостью принимает слово Христово ранним чудесным утром:

*Проснись, Буй-Тур, иди к брегам!
Тебя сам милостник Никола
В крещатой ризе ждёт у мола.
Уж златокося Моряня
Наречена святой Татьяной,
Она росистою звездою
Глядит в оконце слюдяное!
Встань, о княже Гаврииле,
Пришёл конец Сварожьей силе.
От мёртвой Сити воев сонмы,
Сиянием креста ведомы,
Идут к родимой черемисе...*

Чаша еще не испита, и кровь ещё прольется, и явятся новые мученики и мученицы.

По воспоминаниям В. А. Баталина, «в 1932–1933 гг. Клюев «складал» (его слова) поэму «Песнь о Великой Матери России» во многих планах. Одна из глав — о Пушкине — называлась «Зимний сад», отрывки из нее неоднократно им читались в студенческих квартирах у его знакомых».

Так у современников поэта совмещались в восприятии «Песнь о Великой Матери» и «Каин», текстов которых до последнего времени никто не знал.

...Клюев продолжал дописывать поэму и после разрыва по частям первоначальной рукописи. Отдельные строки были выписаны, как памятка, дабы можно было восстановить по памяти уничтоженные во избежание возможного обыска куски — но ни восстановлены, ни записаны они не были. Лишь отдельные строки сохранились в памяти художника Николая Минха:

*Твердыня чувствовалась в тыне
От костромского топора,*

*А на заморской половине
Велась затейная игра.*

*Там Нестеров — река из лилий,
С волшебной домброй Бородин,
Шаляпин пел во “Вражьей силе”,
Славянской песни исполн.*

*Толстой в базальтовой пещере,
Отшельник Лев,— чей грозен рык,
Ведун из Городища — Рерих,
Есенин — сад из повилик.*

... А впервые я услышал об этой поэме в мастерской художника Анатолия Яр-Кравченко, который показал мне небольшую свою акварель: угол деревенской избы, окно, край стола, на котором горшок, покрытый полотенцем.

Анатолий Никифорович повернул акварель и дал прочесть на обратной стороне подпись, сделанную рукой Клюева:

“Изба в Вятской губ., где мною написана поэма “Каин”, 1929 г. Августа. — Н. Клюев”.

— Что это за поэма? — спросил я.

— Не знаю, — ответил художник. — У меня её нет.

И лишь летом 1991 года я обнаружил её текст в архиве Комитета государственной безопасности, в “деле” Клюева, без четырёх рукописных страниц и с разорванными пополам остальными (по 26-ю страницу включительно), и лишь 4-я часть, с описанием “Руси крещения второго” осталась почти неповреждённой.

Поэма эта писалась в селе Потрепухино Саратовской области. К этому времени Анатолий Кравченко стал одним из самых близких людей для Николая.

А познакомились они годом ранее, в апреле 1928-го, на выставке картин Общества имени А. И. Куинджи.

(Продолжение следует)